



**Д. Е. АРКИН**

## **Град Обреченный**

Так назвал мастер свое полотно: в глубокой котловине высится город, — белые стены зданий, башен, тесно сгрудившихся домов, — все эти строения опоясывает огромное пятнистое тело свернувшегося широким кольцом исполинского удава: словно канат отгораживает город от всего прочего мира. А далее — ряд высоких покатых холмов, со всех сторон обступивших котловину. И зовется город тот — Град Обреченный.

Опоясанный страшным кольцом рока, им отделенный от всего остального и, прежде всего, от своей страны, — не таким ли городом Рериховой картины представляется ныне столица наша, означаемая двумя именами, — по-старому — Петербургом, по-новому — Петроградом? И в событиях, ныне бушующих, местом возникновения и центром своим избравших северную русскую столицу, — не кажется ли подчас Петроград именно таким обреченным городом, — обреченным на что?.. — на вечное одиночество, на вечную отторженность от остального мира и, прежде всего, от своей страны.

Петербург и Россия, Петербург в России, — взаимоотношение нашего единственного города («прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек», — по слову А. Белого) и всей страны издавна предстает русскому сознанию как мучительная и острая проблема. С самых первых своих времен, с самого основания града Петрова, он явил собой тайну, загадку, притом тайну недобрую, загадку злую; с самого начала своего Петербург осознан был не как факт русской истории и жизни только, не просто как главный и столичный наш город, — но как некая самостоятельная стихия, как категория русской души. И далее все острее ставился вопрос о Петербурге и русской культуре, о Петербурге и России: неясные чувствования говорили, что неприемлимое, трагическое противоречие заключено в этих двух по-

нятиях, противоречие, запечатлевшее своим знаком всю русскую историю в течение ее «петербургского периода». Что-то раскололось в самом существе России, — ранее цельной и единой Руси, — и знак раскола этого — Петербург: «творение», расколом порожденное, плод не слияния, но разъединения двух стихий, и потому уже в самом противоестественном рождении своем таящий глубочайшее противоречие... Разъединение породило Петербург; какое разъединение? «Народа» и «интеллигенции», — ответило сознание позднейшего времени.

От Пушкина до наших дней русское творчество дало ряд исключительных образов, Петербургом внушенных; явление этого одинокого города глубоко потрясло русское сознание. Слова о Петербурге в русском искусстве передают страшное и жуткое очарование «города-морока», волею Первого Императора поднявшегося из финских болот и «пышно и горделиво» утвердившегося на невских берегах, они с остротой ставят петербургскую проблему как проблему русской культуры в высшем и глубочайшем смысле этого слова, — как проблему русского духа и русского творчества.

Эта проблема особенно обострилась в новейшее время, когда обнаружилась наличность всеобщего кризиса, и все вопросы, все проблемы встали перед человеком, как темная заросль на пути, в одолении которой суждено или погибнуть, или одолеть, ступить на новую землю... Но никогда еще проблема Петербурга не была так остро современна, как в переживаемые дни; роль Петербурга в перевороте, — и притом исключительность этой роли, заставили даже широкие массы ощутить эту проблему — взглянуть на нее нам [как] на конкретную проблему дня. Наличность ее начинают сознавать уже не одни только мыслители и поэты, но политики, публицисты, общественные деятели. «Вся Россия приносится в жертву тому хаосу, который именуется Петроградом» \*, — когда мы читаем эту фразу в речи политического деятеля, нам слышится в ней нечто большее, чем образное выражение определенного, чисто политического требования... Переживаемые события сделали явным тот скрытый лик Северного Города, который ранее угадывался лишь художниками и поэтами. Вновь, как и прежде, русское освобождение оказалось связанным крепкими нитями с Петербургом; революционное движение началось и сосредоточилось именно в нем, ибо во всей остальной России такового движения, в собственном смысле,

---

\* Отчет о частн. сов. чл. Гос. Д., речь Н. Н. Львова, 28 июня (Русские ведомости. № 146).

почти и не было; дата 27 февр. — 1 марта 1917 г., — прежде всего, дата петроградских событий, равно как и роковая дата первой революции — 9 янв. 1905 г., и ранее — 14 декабря 1825 г.: все эти знаменательнейшие даты русской истории фатально связаны с именем нашей северной столицы.

Но между русским освобождением (здесь мы имеем в виду движения нашего века, т. е. две революции — 1905 и 17 гг.) и Петербургом существует не только внешняя, пространственная связь, но гораздо более глубокая и сокровенная связь идейная; присматриваясь к чертам переворота, стараясь уяснить себе его скрытый подлинный лик, мы неожиданно открываем в нем черты, странным образом напоминающие о лице того города, на улицах которого этот переворот начался и где, по преимуществу, развивался. Недаром замечательное произведение словесного искусства, изобразившее нашу первую революцию, — роман Андрея Белого, — названо именем Петербурга; художник, как никто еще до него, обнажил эту роковую связь, существующую между фактом русского освобождения и фактом Петербурга: но в первой революции эта связь раскрылась лишь наполовину; только великие события настоящих дней обнаружили ее в полной мере. Потому ныне особенный острый смысл приобретает проблема Петербурга; раскрытие этой проблемы, этой загадки есть раскрытие подлинной природы русского освобождения. А что это последнее, как не мучительная и злая загадка?..

---

Город Змеи и Медного Всадника...

*В. Брюсов*

...Не верь Петербургу, весь он — обман, марево, призрак; из мутных туманов и мглы сотканный, на топях стоящий, весь он — морок, сонная греза, весь — ложь, вымысел; он неверен и изменчив, он — химера, он весь — противоречие, — вот слова о Петербурге, наиболее настойчиво повторяющиеся на страницах, ему посвященных.

«О, не верьте Невскому проспекту», — говорит Гоголь в своей гениальной повести, в этом первом подлинно петербургском произведении, первом, после той, все еще загадочной, поэмы Пушкина, где славословие Петербургу и его творцу, открывающее повествование, лишь усиливает глухую и глубокую тревогу, которая охватывает читающего по окончании всего эпизода, ставящего роковой вопрос и не дающего на него ответа, — «он

лжет во всякое время, этот Невский проспект», — эти слова, отнесенные к самой замечательной улице города, преломившей в себе все «петербургское», в равной мере относятся и ко всему Петербургу; о лживости и фантастичности, как основной черте последнего, говорит и Достоевский в знаменитом отрывке из «Подростка»: «Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли вместе с ним и весь этот гнилой, склизлый город, подыметя с туманом и исчезнет, как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красоты, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне?..” Мне часто задавался и задаются один уж совершенно бессмысленный вопрос: “Вот они все кидаются и мечутся, а почему знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится, — и все вдруг исчезнет”». Эта черта Петербурга, — его призрачность, нереальность, — наиболее сильно поражала всех, писавших о нем \*. «Петербург, Петербург! Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговой игрой: ты — мучитель жестокосердный; ты — непокорный призрак; ты, бывало, года на меня нападал; бегал я на твоих ужасных проспектах и с разбега взлетал на чугунный тот мост, начинавшийся с края земного, чтоб вести в бескрайнюю даль; за Невой, в потусветной, зеленой там дали, — повстали призраки островов и домов, обольщая тщетной надеждою, что тот край есть действительность, и что он — не воющая бескрайность, которая выгоняет на петербургскую улицу бледный дым облаков» (А. Белый. Петербург).

«Петербург — это сон», «*призрак туманный*», «*призрачная Пальмира*», «*полярное марево*», «*мираж побережий и улиц*», «дым», «*фантом туманный*» — таковы образы современных поэтов.

Быть может, самое строение Петербурга, его климатические и атмосферические особенности, белая волшба его ночей и магическая зыбкость туманов создавали это ощущение лживости, противоречивости его существа. Невский проспект, которому Гоголь посвятил гениальную повесть, — эта замечательнейшая

\* Едва ли не первым отметил эту черту Адам Мицкевич, еще до «Медного всадника» посвятивший Петербургу замечательную поэму (1832 г.), многие образы которой родственны петербургским образам, как Пушкина, так и позднейших русских писателей (см. недавно опубликованный перевод этой поэмы на русский язык В. М. Фишера: *Голос минувшего*. № 5—6 с. г.).

улица Петербурга, а, как говорят некоторые, — и всего мира, — наиболее ярко выразил основную черту города: неумолимая прямолинейность, прямота, по которой выровнялись все здания, эта сухая, геометрическая точность планировки, — пристрастие великого основателя города, — и полная сумрачной тайны неясность, неопределенность, расплывчатость очертаний, создаваемая трепетной мглой туманов и болотных испарений, где люди — как тени, дома — как видения, — какое разительное противоречие, какой разительный контраст! *Все существо Петербурга двойственно*; эта двойственность — всюду; здесь везде рядом — гранит и болото, зыбкое марево тумана — и холодная, неумолимо-точная геометричность.

Для уяснения лика Петербурга, — Петербурга, повторяем, не явления отечественной географии и истории только, но явления духовного бытия России, факта ее культуры — важно то, что эта двойственность, проходящая через все строение города, является и главенствующей чертой его внутреннего, скрытого существа. Это последнее обстоятельство и угадывалось искони русским сознанием, видевшим в облики города напечатление его внутренней сущности. Две силы, две энергии скрестились в Петербурге; два начала образуют его существо. Рожденный расколом в душе нации, распадом единого *народа* на «народ» и «интеллигенцию», — Петербург соединил в себе два отрицательных начала, пребывающие в существе России и образующие не подлинный, в высшем смысле реальный, но ложный, видимый ее лик. Поэтому-то реальным представляется и самое существо Петербурга; он — начертание второго, темного лика России. Два начала, две силы, образующие последний, собираются в точке Петербурга, в нем они объективируются, в нем получают свое воплощение. Отсюда — то глубокое и темное значение Петербурга в духовных судьбах России, отсюда — трагическая острота проблемы «Петербург и Россия».

Каково же имя этим двум, равно чуждым подлинной и сокровенной природе России, началам? «Восток и «Запад» — отвечают иные, и такая формулировка ответа наиболее прочно утвердилась в русском сознании, освященная именами величайших представителей последнего. Нам, однако, представляется более удачным иное обозначение этих двух начал, устраняющее недостатки (весьма значительные) терминов «Запад», «Восток», и вместе метко определяющее сущность подразумеваемых под последними понятий, — обозначение, предложенное совсем недавно одним замечательным русским мыслителем и поэтом, заменившим вышеприведенное наименование этих отрицательных

сил русской души наименованием «Русь Люциферова и Русь Ариманова», каковой терминологией мы и воспользуемся. Из статьи, посвященной характеристике этих начал, мы и заимствуем нижеследующие мысли об их природе\*.

Люцифер (Денница) и Ариман — дух возмущения и дух растления — вот два богоборствующие в мире начала, разноприродные по мнению одних, — хотя и связанные между собою таинственными соотношениями, — или же, как настаивают другие, два разных лица единой силы, действующей в «сынах противления», — ей же и имя одно: Сатана.

...«Русь святая» необходимо предполагать, как свет свою тень, Ариманову Русь... Мы все, увы, хорошо знаем эту Ариманову Русь, — Русь тления, противоположную Руси воскресения, — Русь «мертвых душ», не терпимого только, но и боготворимого самовластия, надругательства над святынею человеческого лика и человеческой совести, подчинения и небесных святынь державству сего мира; Русь самоуправства, насильничества и угнетательства; Русь зверства, распутства, пьянства, гнилой пошлости, нравственного оупения и одичания; мы знаем на Руси Аримана нагайки и виселицы, палачества и предательства; ведом нам и Ариман нашего исконного народного нигилизма и неистовства, слепо и злорадно разрушительного, скорого на разъярение, исступленно растаптывающего прекрасное и чистое, даже до недавно заветного и умирительного.

...Возненавидев Ариманову Русь, образованная часть народа, назвавшая себя «интеллигенцией», давно уже искала оторваться от всей русской самобытной данности и преемственности, — от Руси Аримановой, которую она видела, и вместе от Руси святой, которой и не видела, — по крайней мере, в настоящем, и бытию которой, как вневременной сущности, конечно, не верила. Эта часть народа попыталась создать новую Россию, уже не Ариманову, но и не святую, а Россию, осуществляющую собой тот люциферический процесс, который совпадает с процессом культурным. Почему и случилось, что эта часть народа со всею страстностью восприняла западные начала, и именно те из них, которые казались ей наиболее движущими и глубже других изменяющими жизнь на современном ей Западе. Это были, по преимуществу, заветы великой французской революции в их новой метаморфозе атеистического демократизма и социализма, а в

\* *Иванов Вяч.* Лик и личины России. К исследованию идеологии Достоевского // Русская мысль. 1917. № 1.

последнее особенно время — идеи германские, каков, например, марксизм, происходящий от французской революции лишь по женской линии, отцом же своим имеющий левое, атеистическое гегелианство.

...Родоначальник же и первый двигатель люциферической России по сей день, — конечно, Петр».

Так, — есть лик России — тайный и единый и единственно-реальный, коего имя — Русь Святая, — и есть личины ее: одна, именем Аримана или «Востоком» означаемая, — начертание стихии хаотического, стихии темных хотений и безудержного своеволия, отрицающего все грани и предельные межи, носителем которой так часто оказывается, — в нашем словоупотреблении, — «народ», — и другая, «западная» или Люциферова, знаменующая собой те энергии, носителем которых является так называемая «интеллигенция» и которые питаются исключительно рассудочными утверждениями, мертвенными догмами, из коих основная — признание данного мира единственно существующим и работу над его устройством — единственно культурной работой, — энергии, а религиозные по самой своей природе, в творчестве своем, ограниченном раз установленной, неизменной схемой, направленные лишь на создание ценностей «положительной культуры» (именно в этом смысле — «процесс люциферический совпадает с процессом культурным»), но минующие в своих устремлениях дело культуры иной.

«Восточный» хаос, — хаос подсознательного, томного и звериного, — и мозговая, отвлеченная схема «Запада» — вот две стихии, проявляющиеся в русской душе, образующие две личины последней, под которыми глубоко скрыт единый и истинный ее лик. И наиболее конкретное и яркое воплощение эти две стихии получили в явлении Петербурга. Ибо, как одно начало — начало Люцифера находит свое выражение в одной стороне существа Петербурга — в специфической его «западности», в мертвенной схеме, в нем царящей, в его геометрически-прямых линиях, в его проспектах («весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень» — А. Белый), во всем, что носит на себе печать великой воли державного основателя города, — этого «родоначальника и первого двигателя люциферической России», — так и стихия Аримана, «восточное» начало, неизменно, хотя и не столь явно, присутствует в существе Петербурга: это — та темная жуть, тот хаос, который скрыт «стройным и строгим видом» столицы, как болотная топь скрыта в нем

гранитом и асфальтом, но который разлит по всему существу города, — который глядит на прохожего оком бездны отовсюду, — из туманов и тусклой мглы, царящих на «лицах, из каменных глаз двух египетских чудовищ над Невой и из самых вод Невы и Фонтанки, — тот петербургский хаос, который так пугал «бескрайностью туманов» сенатора Аблеухова, «более всего любившего прямолинейный проспект» \*. Весь Петербург — сочетание этих двух стихий. С потрясающей силой это сочетание символически изображено в том загадочном монументе, который Пушкин сделал героем своей гениальной поэмы; который более всего другого в Петербурге поразил воображение поэтов и художников, видевших в Фальконетовом истукане символ всего петербургского, знак «петербургской идеи»; русское творчество потому окружило таким таинственным ореолом это произведение второстепенного французского ваятеля, что угадывало в нем нечто большее, чем памятник основателю города и империи. В нем — символ Петербурга, и, вместе, — символ двух стихий, двух «личин» России; на гранитной скале поставлены изваяние Петра и изваяние Змея: знак Руси Люцифера — в фигуре «родоначальника и первого двигателя лициферовской России», и знак Руси Аримана — в извивающемся под копытами коня Змее, Дракону, издревле знаменующему Восток. Пусть в замысле скульптора Змей должен был представлять собою неустройство и невежество допетровской Руси, раздавленное реформами императора, — или что-нибудь в этом роде, — мы видим в этом извивающемся по граниту скалы теле, — живом теле, а не трупе, — знак чего-то гораздо более значительного, безмерного и глубокого; пусть голова Змея придавлена копытом Петрова коня (так «хаос» в Петербурге подавляется «проспектом») — он жив и делит со Всадником владычество над городом. Так царят они оба в Петербурге — Петр и Змей; стихия Петра и стихия Змея, Русь Люциферова и Русь Ариманова, — две личины, скрывающие лик Руси Христовой, — воплотились в Петербурге. Образованный этими двумя стихиями, не включающий в свое существо чего-то третьего, что именно и есть единственная и подлинная сущность русской души, Петербург — вне Святой Руси, вне Руси Христа: в этом разгадка его страшного одиночества, его отторженности от живого тела России; в этом — разгадка того противления идее Петербурга, которое проходит через все русское творчество, от бунта Евгения, от призыва Ивана Аксакова «возненавидеть Петербург всем сердцем своим и всеми по-

\* Белый А. Петербург.

мыслими своими», — до современного проклятия обреченному городу, провозглашенного Мережковским — в прозе, Зинаидой Гиппиус — в стихах \*.

Петербург пребывает в Руси Люцифера и в Руси Аримана, потому-то, в самой природе своей, он нереален, призрачен: реальна в высшем смысле только Русь Христа. Этим самым определяется судьба «русского освобождения», связавшего себя, в обоих своих проявлениях в истории, с именем северной столицы.

Первая русская революция свершалась под знаком России люциферической; интеллигенция, — эта преимущественная носительница люциферической стихии, — была творцом и главным делателем движения 1905 года. Интеллигентские чаяния были первенствующей силой и двигателем революции; в последней воплотилось все то, что так долго накапливалось в культуре интеллигенции, и потому судьба движения, — не внешняя, выразившаяся в результатах его, неудача, но, — в гораздо большей степени, — обнаружившаяся внутренняя ложь его оснований и его чаяний, — явилась разгромом всей идеологии, больше того, всей веры интеллигенции. Правда, в массе своей, последняя, как будто не признала своего поражения, не отказалась от всего того, что обусловило это поражение, — но для внимательного наблюдателя настроений послереволюционных лет, — вплоть до самого последнего времени, — явен тот огромный сдвиг, — вернее, приурочивание к сдвигу, — который в эти годы наметился в интеллигентском сознании и который нельзя не поставить в самую тесную связь с итогами первой революции. Этот сдвиг может быть охарактеризован как стремления интеллигенции к преодолению своих люциферических начал, своей «западности» — своей арелигиозности, в конечном счете, — и к обретению нового сознания, сознания религиозного, творческого, культуросознания. Этот сдвиг только начинал обозначаться, и, конечно, ста-

\* Мережковский, с надрывом прокричавший анафему Петербургу, — свое известное «Петербургу быть пусту», — быть может, наиболее сжато и определенно выразил это напряженное чувство отрицания Петербурга, противления петербургскому. Мережковский отметил также роковое значение Петербурга в деле русского освобождения; для него ясно, что от Петербурга — гибель русского освободительного движения, и вся статья его проникнута ужасом и отвращением перед палачом (см.: Большая Россия. С. 1—14). — См.: Гиппиус З. Н. Собрание стихов. Книга вторая. М., 1910. С. 7—8.

рая интеллигентская пара еще жила и проявляла свою жизнь. Но знаменательна была та борьба, которая начиналась внутри интеллигентского сознания и которая сделалась особенно напряженной и получила особенную значительность и глубину перед лицом великого испытания исторических судеб России, — мировой войны. Кажется, самым показательным из проявлений старой интеллигентской веры, в эти последние годы, была получившая столь широкою известность статья Горького о «двух душах»<sup>1</sup>, — эта попытка вернуть интеллигенцию к исходной точке ее пути, воскресить в ней чистую западность, чистую люциферичность.

Первая революция, в которой явлен был лик Руси Люцифера, оказалась лжереволюцией, лжеосвобождением. И нарождались новые чаяния, — чаяния освобождения, долженствующего свершиться в ином плане и во имя иное.

Пережив одно ложное освобождение, мы ждали второго — истинного. Но, по неумолимой воле, правящей нашими судьбами, нам суждено, кажется, пережить и второе крушение наших чаяний. И, впрямь: если лик Руси Люциферовой глянул на нас в событиях пятого года, — не различаем ли в происходящем ныне черты другого «русского демона», — несравненно более ужасного, — не узнаем ли образ Руси Аримановой в свистопляске событий наших дней?... Не он ли, — демон «нашего исконного народного нигилизма и неистовства, слепо и злорадно разрушительного, скорого на разъярение, иступленно растаптывающего прекрасное и чистое, даже до недавно заветного и умирительного», — правит и настоящим?.. Уже не Люциферова Русь — Русь нынешней революции; интеллигенция, делавшая первое движение, ныне (и это надо признать, в этом необходимо сознаться), — лишь игрушка в руках иных, — слепых и безмерных сил. Да, это он — «огромный черный призрак Аримановой Руси» встает перед нами в вихрях свершающегося.

За «освобождением» во имя Люцифера — «освобождение» во имя Аримана. Когда же — освобождение во имя Христа? И увидевшие, узнавшие две личины, с тоской и отчаянием взываем о лике, — о Руси Святой. Где она?..

Петербург, — два его начала. Люцифер и Ариман, — властвуют над русской революцией. Но энергии Люцифера и энергии Аримана суть, в равной степени, энергии разрушения, — и в этом своем деле они одноприродны. Так заодно действуют мутные воды вышедшей из берегов Невы, затопляющие улицы, рушащие здания, и зиждитель города — Медный Всадник — Петр, и против обеих сил подымает бунт свой бедный Евгений, — этот пер-

вый восставший на Петербург. Так в носителе «петербургской идеи» — Аблоухов-сын (герой того замечательного произведения, которое поистине, может быть названо Откровением о Петербурге) для одной цели соединились эти две силы: он — «кантианец», более того — когенианец»<sup>2</sup>, в параграфы и схемы мертвой метафизики укладывающий все сущее, и он же — потомок монголов, старый туранец, который «воплощался многое множество раз... чтобы исполнить одну стародавнюю, заповедную цель: расшатать все устои». И в бредовом видении своем Николай Аполлонович узнает о «врученной ему до рожденья и великой миссии: миссии разрушителя».

Эта миссия — миссия Петербурга; силы, в нем воплотившиеся, — отрицательные силы, силы не творчества, но разрушения. И Петербург — заряд разрушительных сил, «мертвая точка» русского творчества. Потому, — лишь *преодолев в себе Петербург*, русское освобождение может стать освобождением подлинным... Рожденная из мертвого лона обреченного города, русская свобода — обречена сама; печать тления — на лице ее. *Трехдневна и смердит*, мнится уж некоторым.

...Где-то далеко — Белая Страна, Россия Алеши Карамазова, Русь Святая, — и уж не сказка-ли, не обманное ль видение, исчезнувшее при первых лучах петербургского солнца?

Но знаем: ложь и марево — Петербург; единая же сущность — та, далекая ныне, Россия.

Не на болотной топи и не на граните, но лишь на ее благоуханной и плодоносной земле зацветет священная Роза национальной культуры.

1917

